

Евгений Звягин

УСЛЫШАВШИЙ ГОЛОС

Странный и неудобоспасаемый наш городок, Питер, дождливый и пасмурный, сырой и неблагоуханный. Бродишь по улицам, и не на чем глаза остановить. Разве что на пивном ларьке с длинным, вяло шевелящимся черным хвостом, вроде тритона в мутной банке. Или изъезженном трамваями перекрестке, зарешеченном долу- рельсами, горе- проводами.

Впрочем, однажды случается- мимо идешь, и из окон невысокого первого этажа, из-за неплотно притворенных штор: динь-ди-линь... динь-дилинь... Проскочишь- вернешься. Ошибся- не звук, а пища для зрака, и - о!

Цветет на облупленном, заляпанном электрическим желтком подоконнике- куст столетника. Сквозняк из приотворенной форточки подвески на люстре шевелит. Цветик-тонкие, белые, изнутри подсвеченные колокольчи. Первый- /и последний/ раз в жизни. Больше такого не увидишь. Задомини эту минуту.

Впрочем, оставим мы аналогию, хромую, как все аналогии в мире. Не желтушный и не жеманный- сильный и полнозвучный ключ поэзии Петра Чайгина. Редкость- да. Но поэзия- всегда редкость, неловко об этом и вспоминать.

Нет, не румяным здоровяком предстает перед нами поэт в своих версиях. Но человеком, обладающим удивительной волей к слову- самовитому, самоценному, точному. И не призма, разделяющая мир на локальные цвета- его глаза кристалл, само собой, магический.

Маленькая книжка "Сольфеджио", и "Последние стихи", обнародованные в одиннадцатом номере альманаха "Часы"- составляют сильное впечатление. Если слово- ключ для "Сольфеджио"- "словарь",- для "Последних стихов"- слово "трезвость".

Трезвости кристальный позвонок
чище Солнца и честнее яда.

Трезвость. Кристальная трезвость. Без улыбки берешь в ладони это хрупкое слово. Синоним "бдения". Антипод - "сна" в гурджиевском смысле слова, замороченности сознания на разные внешние, майей подсказанные фокусы.

Сколько богатой коллекцией "снов", по контрасту, предстает нынешняя питерская лирика поэзии - ни под один зонтик не вместится. Тут и "духовный" ряд наркотических сновидений с неизменным самоопьянением религиозной, шаманской таинственной терминологией, что-нибудь вроде:

Тот, кто в мире не бывал,
Тот и Бога не видал...

Тут и смелый "эксперимент", рифмующий "пространство" и "мирозданство",
и, конечно, густой храп со страниц толстых "литературных" журналов.

В книжке "Сольфеджио" немного стихотворений. Это, скорее, цикл, нежели книга. Но очень высока, если так можно выразиться, "удельная плотность" этой поэзии. Так что не будем спорить, пусть книга. От нее к "Последним стихам" наблюдается определенная эволюция.

"Сольфеджио" - как из единого куска резано. Разрывы между стихотворениями намеренно не обозначены. Ритмические переходы на их стыке не производят впечатления равноголосицы, но мощного полифонического многоголосия, некоей хоральной непрерываемости. Звучание стиха чисто, сладко и полно.

Не то - "Последние стихи". Их фрагментарный, первоначально разорванный характер, очень ощущимая "непреднамеренность" их появления - первое, что бросается в глаза. Это и отдельные строфы "стихов, написанных в больнице", и стихи-посвящения, и так далее. Чувствуется, что со временем написания "Сольфеджио" /1973-74 гг/, сознание поэта резко преобразилось.

Далеко "Последним стихам" до олимпизма "Сольфеджио". Но их материя более тонка и летучая, более пламенна.

Об "олимпизме" книги "Сольфеджио" сказано, разумеется в относительном смысле. В целом, мировосприятие поэта- катастрофично.

Без жеманной псевдоабернтурской "катастрофичности"- прибежища дамской "брутальной" муз.

Без визионерских "исходов" из Петера под поэтические петарды атомных грез, освящаемых не то крестом, но то автоматом. Кратко, просто и мужественно:

Открыл и вышел. Взялся за перила.

Качнуло. Удержался. Место пыло.

И свист прошел над бедной головой.

Так посвистывает концами своих жестких кривил муз Трагедии. Мясо его стихов- природное мясо. Все-вещно.

Коренья льда, молочный алый гул,
пар города на выемке февральской...

Не вещность - не самоцель. Самоцель- Вечность. Прорыв через ткань к абсолюту:.

Кстати сказать о глубокой, ненадуманной религиозности Петра Чайгина. И о связанном с ней понимании своего поэтического предназначения, как преобразователя горных звучаний. Гордня в этом? Или смирение? Вопрос, не нуждающийся в разрешении.

Византийской пчелы
свет погас, заострил небосвод.
Клевнул бес - не попал.
Ларий голубь терзает предплечье.
От молдавских березд
до гостилицких вылитых сот
Твердь, как сеть, сожжена
прекословной все-ленной речью.

И чадит мотылек,
воск ночей выбирая с души.
Между черным шитьем
А коробкой вязгливых иголок

Тише, мать, подожди.
Ради Бога, прошу, не спеши
сон жалеть, кровь смягчить.
Это голос его, мама, голос.

Невозможно читателю не почувствовать, что Голос дошел
до поэта, и запечатлен им с немалой силой, силой поэ-
тического вдохновения.

1978 г.